

## Татьяна ГРИБАНОВА

ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2017 • ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2017 • ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2017 • ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2017 • ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 2017



*Грибанова Татьяна Ивановна родилась в 1960 году в деревне Игино Сосковского района Орловской области. Автор нескольких книг стихотворений и прозы. Произведения публиковались во многих литературных изданиях России. Лауреат Всероссийского конкурса «Звезда полей», Международного конкурса «Умное сердце» имени А. Платонова, региональной премии имени Е. Носова (Курск), премии Орловского областного Совета народных депутатов за победу в конкурсе «Книга Года литературы», лауреат Всероссийского поэтического конкурса имени С. Есенина, обладатель специального диплома премии «Прохоровское поле». Член Союза писателей России. Поэт, прозаик, публицист. Живёт в Орле.*

### ЗАМАНИХА

**Я**года садовая ли, лесная – лакомство знатное. А уж луговая клубника, у нас её кличут «заманиха», – и вовсе наипервейшая статья, и сказ о ней особый.

Как только вступает в последнюю пору земляника, когда даже в борových глущибиных смолкает бабье да девичье ауканье, сама собой хлопотная заготовочная пора перекачивается с подолов урочищ на покосные луговины, заброшенные, поросшие самосевным подлеском, поля, на обрызганные колокольчиковой просинью, истомлённые до изнеможения летним зноем склоны угорьев.

Каждый раз, прознав, что соседки давным-давно «обтаскались» заманихи, матушка всплёскивала руками: мол, ах ты, горюшко луковое, опять проморгали первый, самый густой, обор.

Срочным порядком по вверенному ей хозяйству объявлялся переполох. Правду говорю, жизненная история. Переносились на другое время любые намеченные ранее

дела. Сыскивался всяческий, подходящий для ягодного сбора посуд: от бидонов и ведер до кузовков и лукошек.

Горячей охотницей до заманихи слыла когда-то ещё бабушка Наталья, отцова мать. Она-то и прирастила меня к этой деревенской забаве. Именно забаве, потому что сбор ягод, хоть и был он во все времена нелёгок – и спина-то потом аж два дня ноет, и руки-ноги ломят, – но всё равно делом занятие это никогда не считалось, скорее, прогулкой, отдыхом «на гулянках» от серьёзных каждодневных крестьянских забот. Но, как бы там ни было, следует сказать, пору эту всегда поджидали с нетерпением, «ягодное» удовольствие никогда не наскучивало.

Из года в год в конце июня, начале июля, ранней ранью, с восходом солнца, всем семейством снаряжались мы на целый день в Плоский лесок, в котором в самой серёдке, за расступившимися берёзовыми зарослями, открывалась продолговатая, версты на

две-три, лощина, поросшая чабрецом да диким ягоdnиком.

Жалобясь на «разбитые» ноги, поставшая бабушка с нескрываемым сожалением и горькой завистью, соступив кое-как с крыльца, выпроваживала нас за калитку. И, опершись на загородку, не скупилась, как человек бывалый, на всяческие наставления и советы, «отказывала» нам свои потаённые места. Мол, нынче, по всему видать, заманиха объявится ядрёней да спорей по луговинам. Какой день жарень стоит несусветная, значит, и ягодка на пригорках никудышная: мелкота мелкотой, да и, скорее всего, испеклась. «Ну, вернуться вам с добрым добытком», – крестила нас старушка вослед. И мы, оставляя на лопушистых подорожниках росную стёжку, устремлялись вверх вдоль Мишкиной горы, а затем и вовсе скрывались из виду, тонули в недозрелых иссиня-сизых ржах игинского поля.

Даже когда клубники уродаются «горы насыпные», сбор её, особенно если тебе лет семь-восемь, где-нибудь часа через два-три начинает надоедать. Тут на выручку приходит бабулина предусмотрительность – самое время развязать собранный ею «вузелок». Набулькаешь из бутылки молочка в синюю кружку, разрисованную роem золотистых пчёл, умнёшь, подкрепишься плюшкой, калачиком, потом сладишь на голову для прорхладцы из широченных листьев конского щавеля и почти совсем отцветшей, но всё ещё душистой медуницы «мировой» венки, нахлобучишь на козынку, глядишь, и снова дело заспорится, даже песню, выученную от бабули поневоле начнёшь под нос себе мурлыкать: «Ой, при лужке, лужке-е, лужке-е...»

Пока брали ягоду, отец, очень скоро терявший к ней интерес, а заодно и терпение, успевал обежать вдоль и поперёк

весь Плоский лесок (берёзовы-ый!) и с привеликим удовольствием наломать полнёхоньку плетушку зелёных да розовых сыроежек, ярко-жёлтых лисичек. Сыщёт, бывало, без них уж вовсе не вернётся, и хоть с пяток-другой крепеньких, один в один, белых.

Мало того, обезоруживая маму, «в оправдание своего побега с ягоdnого поля брани», он притаскивал ей то перевитую травяным перевяслицем или длиннющими стеблями мышиного горошка охапку малиновых кипрейных султанчиков, то букетище крупных лесных ромашек.

«Умасленная» подношением, мама всё равно, улыбаясь, грозила ему в наказание: «Зимой варенье будешь есть из Таниной заманихи», прозрачно намекая на мою «зеленуху».

Но отец за просто так и сам не сдавался, и прикрывал меня. «Так я ж приторного на дух не переношу. Куда вкуснее кисло-сладкое», – подмаргивая мне, парировал он. И я, довольная и радостная, светила от его поддержки. К тому же, как только мама скрывалась в травах, как по мановению волшебной палочки, откуда-то из-за пазухи его возникало с десятков пучков крупнящей, зрелой клубники. Отец лукаво щурил глаза, прикладывал палец к губам: мол, помалкивай, смотри, не проговорись маме, и, опуская свой добыток в мой бидон, прикрывал его закудрявистой бахромой тут же сорванных цветов бледно-розовой хохлатки. Возвращаясь домой, мы загадочно переглядывались и подмигивали друг дружке, сохраняя от мамы свой «душистый» секрет.

В мамином же ведёрке, можно даже не заглядывать, заманиха отборная, ягодка к ягодке, даже есть жалко, только любоваться да картины с ней писать. И как у родимой хватало терпения собирать только по одной, самой лучшей, с кустика?

А я вот додумалась: мол, чего тут церемониться, луговую можно сдёрживать с веточки сразу по несколько ягодинок, горсточкой. Честно сказать, зачастую среди спелой в бидон по недогляду попадала и белобокая, а порой и вовсе зелень зеленью.

Но бабуля, старалась не замечать мою уловку, даже виду не показывала. Перебирая мой добыток, никогда, бывало, не пожурит. Видать, теплилась в ней «надёжа» на то, что со временем «лень сама из меня выдурится», и заманишка в моём бидоне станет куда ядрёней и спелей.

Мало ягодку взять, это дело хоть и не десятое, но и не самое наиглавнейшее, надо ещё, как говорила бабушка, «до ума довести». Спелая заманиха – создание нежное, уважает заботливое с ней обращение. С ягодой время дорого, а иначе «поплывёт», не удержат. И потому, наморишься, не наморишься, в тот же вечер до позднего поздна приходилось с ней тетёшкаться, рассыпав на чистую тряпицу, «чтоб не сгорелась», прямо на крылечном полу.

Но ничего, обходились. Спать не укладывались до тех пор, покуда не распределялась каждая ягодка по ранжиру: переспелые, самые сочные, душистые да лакомые пересыпались сахарным песком в большущих блестящих медных макитрах для варенья. Из года в год в нашем погребе обитало множество банок, баночек и банчиц этого замечательного лакомства из луговой клубники. В зимние холода с блинами-оладьями, с топлёным молоком или травяными чаями уплеталась эта вкуснятина за любо-дорого.

За «заманишный день» ладошки становились красные-красные, такие же и губы,

и язык. Ведь нет-нет да и не устоишь, подкинешь в рот самую приглянувшуюся.

Той ягодке, что потвёрже, место определялось в морозилке. Вдруг да невтерпеж захочется наперекор крещенской стужице чего-то совсем летнего. Вот когда сгодится сохранившая свой яркий аромат луговая сласть заманиха.

Немалую часть ягоды оставляли для сушки. На следующий день, не мешкая, отец поутру, как отойдёт роса, взбирался по лестнице на покатую крышу амбара, рассыпал заманиху тонким слоем на застланную старым покрывалом железную крышу. За день, как на жаровне, ягода доходила до готовности, бери да ссыпай в пошитые мамой на древней «зингерке» специально для всяческой сушки цветастые ситцевые мешочки.

За завтраком, зачерпнув из макитры пропитанные сахаром ягоды, заливали их в миске парным молоком.

С той поры прошло столько лет, что можно и со счёту сбиться, а вот вкус этого яства не спутать по сю пору ни с каким иным, вкус отрадного детства и семейного лада.

Ягодное пиршество на этом не заканчивалось. Весь длинный июльский день мама «мудрствовала» у плиты над вареньем, а я, чтобы отвести душу, вертелась около, дожидаясь, когда наконец-таки в тазах запенится, забулькает, когда, расхлюпавшись, примутся «убегать» розоватые, дышащие Плоской ложиной, ярим солнцем, безудержной июльской радостью пышные, воздушные пенки.

И напрасно страшала меня бабуля: «Татьяна, остепенись, гляди, не налижись! Вот ей Богу к завтраму на щеках заманиха вызреет!»

## ПОД ИЛЬИН ДЕНЬ

Июль выдался адски жарким. Деревенские махнули рукой: жди теперь урожая, как с вербы яблоч. Ни малейшего колыхания в побуревшей, скрюченной листве деревьев, ни хотя бы лёгкого дуновения. За весь месяц небо, и день и ночь палившее на хутор и его окрестности своё не моргающее око, видевшее все страдания земли, не сжалилось, не проронило даже самой малой слезинки.

Роса не приносила спасения, казалось, закипала, с шипением выжигая даже низменные поймы по берегам обмелевшей Кромы. У неё, горячей, не хватало сил утолить жажду иссушенных, хилых покосов, или хотя бы освежить их.

Как ни молилась бабка Маня, обходя на рассвете пожни, как ни шептала, хоть и была она почитаема всяким и каждым на пять деревень в округе, колос на полях так и не смог налиться в полную меру.

И вот на исходе месяца, под Ильин день, воздуха раскалились добела. Зной и томление настолько измаяли всё живое, что, чудилось: хутор вымер. Разыскав какие-то мало-мальски тенистые прибежища, спрятались птицы, осоловелые мухи, будто вовсе дохлые, очумело кружили на подоконниках крыльца и падали под ноги.

Еле-еле дотянув до заката, ошпаренное солнце ахнуло в пышущие жаром и духотой сумерки. И уже спустя всего каких-то четверть часа над хутором пала оглушительная темень. Луна, словно догадываясь о чём-то подступающем, жутком, предусмотрительно обошла хутор стороной.

Ни проблеска в вышине, ни единой звёздочки. Не объявилась даже Полярная, которая по своему обыкновению любила вскарбкаться на макушку самого высоченного хуторского тополя, что вымахал у Фролыча

за бакшой, и оттуда помогала мальчишкам пасти в Сухом логу табун хуторских коней. Нынче бы она, ой, как пригодилась, потому как подгулявший на крестинах внука дед Тишка вот уже полчаса, как безуспешно силился сыскать дорогу до своей, стоявшей по соседству, избы.

Бабе Мане не повезло отметиться вместе с дедом на крестинах. Маявшаяся который день от давления – ныла каждая косточка – она окончательно слегла. Но старого всё ж таки выпроводила: мол, не дай Бог, сын разобидится.

Бабкино тело напрочь отказывалось её слушаться, рука с трудом поднималась ко лбу, совершенно обессиленная, пристроившись на топчане, поближе к Божничке, предчувствуя неладное, она всё перебирала и перебирала губами, уповая на Заступницу, молилась.

Когда дед, к великой своей неожиданности, добрался-таки до лавки в родимой горнице, баба Маня, успев потолковать со всеми Святыми разом и с каждым по отдельности, казалась не в себе – надо же! – «для пущей надёжи», вспомнив прабабкино «наущение», творила заговор:

*«Твердь земная, твердь Небесная,*

*Отринь молнию и гром.*

*Ангелы зла и Ангелы добра,*

*Встаньте по разную сторону.*

*Три имени Троицы*

*И три несокрушимые силы Господа,*

*Дайте силу заклинанию.*

*Семь духов планет:*

*Кассиэль, Захиэль, Самаэль, Анаэль,*

*Рафаэль, Михаэль, Гавриэль!*

*Север, юг, восток, запад,*

*Печать Солнца и печать Луны!*

*Разрушаю этим заклинанием поток воды,*

*Виток ветра, укрощаю стихию  
И отнимаю её силу у природы.  
Знаю все заклинания семи дней,  
Данные Господом  
И все псалмы его.  
И через то сила воды в моей власти.  
Аминь!»*

Закончив своё важное дело, баба Маня, покачав укоризненно в Тишкину сторону головой, сказала, как припечатала, деду всё, что о нём думалось ей на ту пору.

– Э-эх! Горюшко моё ты луковое! Во-все духом занищал! Смолоду держался, а теперя... Довольный, будто Жар-птицу за-сватал!... В твои ли лета выставлять себя на посмешище? – и, зная, что от деда теперя и слова клещами не вытянуть, неделю, как побитый щен, будет тише воды, ниже травы, нарочито строго сдвинув свои посеребрённые летам брови, озаботилась, – скотина-то на дворе, ай, нет? Вставайкась – непогодь надвигается, с минуты на минуту дожидайся проливенного дождя, – и смолкла, снова переведа взгляд на Божницу.

Тишка завсегда верил своей бабке на слово. Когда б чего не предрекла, так оно наверняка и сбывалось, проверено сотню раз. От нескрываемой Маниной «сурьёзности», дед скорёхонько прочухался и в надежде на скорое возвращение, даже «не уздув» бабке свет, – кинулся опрометью на двор, доглядеть что к чему.

Перво-наперво, зачуяв недоброе, в мертвецкой тишине заволновались, зашумели над погребом вековые осоко́ри. В гнёздах, разбросанных на их высоченных сучьях, перепугались, заорали заполошные грачи.

В крошечной темени рассмотреть за окнами хоть что-нибудь подслеповатой бабке не было никакой возможности. К тому же с некоторых пор Тиша приметил:

стала его «супружница» заметно туговата на ухо, точнее на оба. Но разве Маня нуждалась в слухе и зрении, когда всё что надо, слышала сердцем, видела очами своей мудрой души?

Она учуяла, как за порогом покати́лась волна за волной, всё крепче, всё яростнее. Деревья сгибались доземи, покуда в палисаднике не затрещала и не разломилась надвое престарелая рябина. Под её дородным стволом хрястнули крылечные перильца. Обрушенной веткой выдрало форточку и на половицы просыпались, задолдонили, заподпрыгивали незрелые рябиновые ягоды, будто только что нечаянно оборвалась с бабулиной шеи двухрядная нитка с её любимыми «антарками».

Следом за ними в горницу спрыгнул обезумевший от страха рыжемордый Василь Василич. Как бы ни пыталась подманить и прижалеть его сердобольная баба Маня, кот, не долго мешкая, и, зная наверняка, где в их хате самый безопасный угол, шныркнул прямой наводкой на печку.

И во время! Потому что через секунду, ярясь и ликуя, в бешеном порыве ураганный ветер распахнул настезь двери и, кандибобером куролеса по горнице, загасил лампадку, посбрасывал с полок чашки-плошки, затрепал занавесками, чёртом ввился в поддувало, и, выметаясь, напоследок так завыл и засвистел в трубе, что не на шутку перетрухнувший Василь Василич не стерпел жуткого одиночества и опрометью рванул к бабе Мане на топчан.

Где-то по соседским дворам звенели разбитые стёкла, хлопало и бухало, скрежетало и крушилось. В саду невыносимо стонали яблони, градом бились, тукали о шиферную крышу амбара содранные ураганным ветрицей «наливы» и «медовки».

– И куда он только запропал? Канул и никому ни гугу, нагородит потом побы-

вальщины с три короба, начнёт антимо-нии разводить... храни его Пресветлая, – серчая, а больше страшась за деда, балакала Маня в кромешной темноте с забравшимся под одеяло в её ногах Василь Василичем.

И вдруг – у Мани даже сердце захолынуло – иссиня-белым, пронзительным светом пыхнула, растворилась ночная темь. На долю секунды. Точь-в-точь, как неделю назад, войдя в чулан, допялась бабка до выключателя, а лампочка щёлк, и вздызг, на мелкие осколочки. Правда, благодаря её мгновенному свету Маня потом уже наощупь сподобилась сдёрнуть с гвоздя косицу «стригуновского», прихватить для Тишки кубан вчерашней кислушки.

Этой мгновенной зловеще-синюшной вспышкой озарилось всё стариковское подворье. Жуковыми очертаниями проявились клетки и сараюшки. Диким, «незнаёмым» зверем, уронив по ветру обычно вздыбленные при безделье оглобли-рога, тарачилась, вытолкнутая бурей на середку двора, трухлявая дедова телега. А бережно сложенного под навесом, с трудом отвоёванного у засухи стожка новолетнего сенца и вовсе не видать – «наушшал» размётан от калитки до порушенного крыльца.

Не успела Маня очахнуть от этой страшенной вспышки, как в ещё жутче сгустившейся темени на левом берегу пруда, над самыми коровниками так бабахнуло, что на смятые, полёглые бархатцы палисадника из подгнивших рам бабкиной хаты посыпались вконец расшатанные стёкла.

И тут истрепавшаяся ветрищем небесная ряднина не устояла, прорвалась прямо над хутором! Казалось, на очумевшие от

непогоды избы, на разнесённые в щепки леса, на полёглые поля обрушилось, хлынуло нещадными потоками само небо.

Но даже сквозь всё нарастающий шум Маня смогла расслышать, а может, опять почуять, что за прудом полыхал скотный двор. Обезумев, истошно ревела скотина, вырываясь наружу, крушила летние навесы и загороди, слышала она и как, надрываясь, матюганились, орали друг на дружку мужики: «Петро-о! Воротину-то, воротину ширше распахни! Ядрёна вошь! Что ж ты молчишь да гляделками хлопаешь! Ай, с перепугу языка лишился? Пошшшевеливай! Залучай! Не пушай к торфяным ямам! Захрястнут, трактором не вытянуть! Тамотка и окочурятя!»

Уже по свету, когда в тяжёлых муках народился Ильин день, ураган перешёл в обычный летний дождь, и Василь Василич, хоть и не уважал он эту мокрень, но, как воспитанный кот, спровадилась излить свою печаль до ветру. На истерзанной заре объявился, наконец-таки, – в сапогах жмыхала водища – Тишка.

Вошёл, покрестился на Красный угол. Пододвинув табуретку поближе к Мане, измочаленный, и, как обычно бывало после тяжкого, но важного дела, довольный, доложил: «Слава Богу! Кажись, всех собрали. Правда, одна-таки подвихнула ногу, да ещё пару в подпалинах... Но ничего... Там сейчас Кузьмич. Он витинар толковый... А ты-то как тут, Манечка? Ты гляди, держись! Чтоб к зиме у меня, как молодая молодка была! Всем помогаешь, а у самой – то понос, то золотуха!.. К кому ж на Бабы Взбрыксы соседи с гостинцами понайдут?.. Опять, небось пряников узорчатых понаташшут – неподъсть».

## ФРОЛОВА РАКИТА

Правда ли, нет ли, только бабушка Наталья, отцова мать, сказывала – а как ей не поверить? – будто эту ракику на середине Мишкиной горы, вблизи хуторского родника, посадил ещё году эдак в тридцать третьем мой дед Фрол. А коли так, значит, ей уже не много не мало – под сотню годочков!

А дело случилось так... Началось всё с того... Приехал в тот год дед мой с заработков, с Балхашстроя, к Пасхе на побывку. И вздумалось ему, видно, кроме всего прочего, обустроить залившийся родничок. Почистил, углубил он его сердцевину, обложил невысоким дубовым срубом. А чтобы легче было подступиться к роднику в любую непогоду, нарубил он где-то ракиковых кольев и, оставив небольшой, чтобы можно было развернуться с коромыслом, вход, воткнул те черенки вплотную вокруг ключа. Как говорится, в тесноте, да не в обиде, ракитник тот, конечно, у воды принялся мигом, зазеленел, заветвился. Но всё-то высадкам тем вольного духу не доставало, всё-то они застили своими кронами друг дружке Божий свет. Так и мыкались, бедные, длиннющие, тощие, год за годом.

А вот один из ракиковых колышков дед то ли по случайности, перекуривая, воткнул на полгорé, то ли нарочно, с каким дальним умыслом. Не берусь сказать, как там было всё на самом деле.

Знаю только, что спустя годы вымахало у тропинки на спуске к роднику из того хлипенького череночка дерево в три объёма. Жизнь не одного поколения хуторян просуетилась на виду у этой приметной ракички.

Идёт мужик за водой, не преминет под ней остановиться. Свернёт не спеша ци-

гарку или выбьет из пачки «беломорину», оглядится, что, где да как. Не его ли табун прямиком с омутка спровадился в Меркулихин сад? Не Витька ли, его сынок, дерёт на бахче у Колдучихи огуречные зелепушки?

Подымается на гору баба, сбросит с плеча плетушку, битком набитую переполосканным бельём, притулится в густой тени передохнуть, поостыть после жаркой колотьбы на омутке, тут же и пральник меж ракиковых веток в своём потайном местечке до следующей постирушки спрячет.

Для ребятни же под сенью этой ракички вообще был двор родной. С перекинутыми через выгнутый сук ременными качелями, с вырытыми в глинистых боках Мишкиной горы ходами-лазами, с птичьими норками, в которых кому ж не хотелось нащупать пару-тройку дробненьких стрижинных яичек?

Куда бы кто не собрался идти, сбор назначали у этой ракички. Помнится, бывало, возвращаемся с бабушкой из Гороней или Закамней, переберёмся через Жёлтый непременно по камушкам, обустроимся в тенёчке, рассортируем грибы-цветы-ягоды, заодно и передохнём, и – на гору, до хаты.

Справа от дерева – большой глинистый обрыв. Для всяческих хозяйских нужд по налаженному из пяти-шести сплочённых брёвен мосту, а то и запросто – вброд, приезжали к нему за глиной мужики из окрестных деревень. Пока работали, наполняя глиной забранную тёсом телегу, лошадку определяли опять же в тенёк под раскидистую ракиковую крону. Под ней, громадной, не страшны ни палящий зной, ни проливенный ливень. А наморившись,

тут же рассаживались перекусить да передремнуть.

Оно, конечно, дело прошлое, но... вот, поди ж ты, не забылось! Как запомнить-то? Считаю, всё детство моё волчком прокрутилось вокруг да около этой дедовой ракирки. Помнила она, думается мне, и мою юность, и первую, пронзительную любовь. Как дожидалась я впервые, как казалось мне тогда, по уши влюблённая, парня из соседнего села, как до последних петухов не могли мы с ним распрощаться, как, закутавшись в пуховую шаль, выходила на росную гору покликать меня домой так и не научившаяся засыпать до моего возвращения мама.

До-олго служила хутору ракирка деда Фрола. Со временем сами по себе притопали в её тенёчек из лесу грибы-подтопольники, расположились не абы как, необорным табором. Опять деревенским прибиток.

Но у всего в этом мире есть начало и есть неминуемый конец. Деревья – не исключение, к тому же, ракирка – не такой долгожитель, как, к примеру, дуб. В гнилушку превратился её ствол, зимние ветродуи развалили её во все стороны на множество

частей, до земли склонив ветви на взгорье.

«Ну вот, – проходя мимо, думали все, – подошёл смертный час Фроловой ракирке. Спасибочки ей, как не вспомнить родную добром?»

И решили мужики: как только пообсохнет подгорье, сгуртоваться миром и распилить порушенную ракирку: сучья – на дрова, а гнилушки – они тоже сгодятся – пчеловоды разберут их на пасеки для своих дымарей. Договориться-то договорились, да за хлопотами разговор тот закатился под стол и подзабылся.

Справили по Фроловой ракирке поминки, оплакали. Но ранней весной, помнится, ещё и не весь снег-то сошёл, ещё по оврагам да лощинам шумели ручьи, шла я как-то на родник. Слышу: что за диво? Гул какой-то стоит. Даже ведёрки с коромыслом скинула. Пригляделась, а разваленные в стороны ракирковые сучья не только озеленились, к моей великой радости – зацвели! Видать, прижились, пустили корни молодые ракирковые сучки. От ракирки-матери народилась целая ракирковая роща. И снуют, снуют, и радуются её цвету вездесущие пчёлы!

## НА СЕНОВАЛЕ

Белым наливом скатывается за Васютинным амбаром в седые лопухи переспелая луна. А где-то там, над ольховниками Коровьего болота, ей на смену уже вызревает, вот-вот раскроется – только не проморгай! – огненный бутон чудодивного золотистого цветка. Ведро. Не тянет ни дождём, ни сыростью.

В парном июльском ветерке ситцевая в голубенький огурчик занавеска чуть колыхнется. Ушлый комаришка всё-таки сыскал лазейку, проскользнул к Митьке под полог, обустроенный мамкой ещё под Троицын

день, и вот теперь, спозаранку, когда проявляются самые невероятные видения, самые желанные сны, этот неотвязный паршивец наинаглейшим образом докучает и докучает парнишке гнусавым зундением, «ну, прям-таки утерпежу от кропивца нету».

С бакши слышится равномерный хруст. Это дедушка, подобув на бурки галоши, бродит по росным грядкам, хрюкает, набивает для подсвинка Ерочки хоботную плетушку молодого, переполненного соком, ослизлого свекольника. Запах нечаянно



растоптанного огуречника смешанного с ядрёным укропным духом прокрадывается сквозь щёлки сеновала, вползает в Митюшкины полуосыпавшиеся сны.

«Поспишь тут, как же!», – пыжится мальчишка, накрывает голову подушкой, пытаясь зацепиться хоть за краешек ускользящей ночи. Но опять незадача – изодранные вчера в бабки Зининых крыжовниках руки так чешутся, так чешутся – мочи нет. С вечера завернули с дружкой Тимкой справиться, не подошла ли на углу её захолустного сада «дулька». Мальчишки сквозь этот сад, как сквозь свойский, зажмурясь, пройдут. Груша пока ещё каляна-а-я! А крыжовник – ничего, в самый раз, только потемну уж дуже лих. И цыпки на пятках, будь они неладны, – чешутся заодно с зарапинами на пальцах. Хоть мажь их бабуля гусиным жиром, хоть не мажь, – Бог даст, может, хоть к Покрову отпадут.

– Хррр! Хррр! Хррр! – скрипит сарайная воротина.

– Вот так каждое утро! И какого рожна ей не спится? Сколько раз обещал себе накапать в петли машинного масла, да где тут! Опять забыл! Теперь вот слушай её песни на свою шею, – ерошит себе волосы, бубнит невыспавшийся Митька.

– Ммм! – Глафира обмахивается хвостом, не даётся доить.

– Ай, ты нынче белены объелась? – доносятся до Митьки мамкины строгие-настрогие укоры, а потом ласковые-преласковые причитания, – опять подойник наподдала, – жалобится она подошедшему Лукичу, своему мужу, Митькиному отчиму, – витинару что ли показать, может, с вымям что приключилось, вишь как бьётся?

Тянет Лукичовым «беломором», слышно, как он, покашливая, спраживается под сарайку сготавливаться на сенокос.

Вообще-то мужик он ничего. И рыба-

лить Митьку научил, и велик с получки обещался.

– Как папка сгиб в Чечне, мамка совсем было разумом помутилась, – припомнилось Митьке, – кто знает, как бы сложилось дальше, если б не этот вдовый Лукич. Мамка в нём прям-таки души не чаёт... Да и меня он не забирает... Небось сживёмся!

– Вжик-повжик! Вжик-повжик!

– Ишь дедкины пчёлы расчепали под Кулигой – греча зацвела, и ну с неё, уже с неделю как, мимо сеновала таскать к себе в ульюшки взяток. К Сергову дню, глядишь, дедуня и медогонку из чулана выкатит.

Пчёлы всё жукают и жукают. С полудрёму Мите уж и не разобрать: то ли они, заботные, взад-вперёд, носятся, то ли мурчит бабулина маслобойка.

– Динь-динь-тирли-динь! – бойко заплескалось из-под сарая – Лукич правит косы.

Ну, теперь уж точно рассыпался Митькин сон. Босый, на плече мятой тряпицей клетчатая рубаха, он шнырко спускается с сеновала по шаткой лестнице на почти подсохшие подорожники двора. Чтобы окончательно очухаться от душной июльской ночи из притулившейся у крыльца дождевой бочки Митя брызгает на ходу пару пригоршень утренней прохладцы на лицо, на голую грудь. И, взбодрясь, влетает в кухню.

Вернувшаяся из курятника бабуля – в подоле фартука с пяток яиц – жалобится ему на рябую курицу: мол, всё никак не угнездится «нескладёха», в который раз подкладень раздавила. Отсерчав, старушка ставит перед внуком приберегавшуюся в сугреве, на загнетке, тарелку с ещё дымящимися блинами, пододвигает миску со сметаной и снова – прямым к печке. Митя – один румянёнький блямс в сметану и скорее – в рот. Остальные, с десятков,

закатывает в трубочку, суёт тёпленькие за пазуху. Бабуля ещё настряпает – в плошке звон сколько теста!

– Э-эх, кабы шапка-невидимка, пролизнул бы мимо бабули тихонечко!

Парнишка чмокает старушку на бегу, пока та не одумалась, и исчезает за дверью, прежде чем услышать надоедливый («для хороших мальчиков») «молебен».

– Обедать-то, юла, отышшысь, пирог твой любимый с карасями затеяла, а то избегался, всё в сухомятку, кой на чём. Ишь ты, ужаленный! – выглядывает из растворённого окна бабулино смуглое с белесыми лучиками у краешка глаз лицо. Добрейшая старушка грозит внучонку блестящим от масла пальцем.

– Гоп-ля! – прихватив футбольный мячик, Митя спроваживает с горы к Филькину плёсу гомонливый табун уже подросших, оперившихся гусей. Верховодит ими здоровенный серый вожак, шишконосый Пугач,

задира и буян, каких свет не видывал. Всё норовит эдакий расканалья супротив Мити заартачиться.

Неслухи, оставив на полгорé своего хозяина, расперивают крылья, мягко планируют над поросшей анисами стёжкой, над куртинами фиолетовых шалфеев и золотистых болиголовов, будоража шёлковистую водную гладь, плавно оседают на жёлтый сыпучий песок плёса, на противоположный, левый, низменный берег.

Сверкнув белыми, один к одному, зубами, мальчишка, улыбается бойкими, приветливыми глазами, футболит в подгорье мяч. И, как заправская птица, расставив в стороны руки-крылья, срывается следом, летит за своими подопечными.

Золотистое – аж глазам жарко! – солнышко, словно смазанная яичным желтком, поджаристая бабулина лепёшка, катится вдогонку за Митей.

Впереди большущий летний день.

## ГНЕЗДИЛОВО

Кособокие, поседевшие, напряжённо заглядывают они чёрными, замогильными глазницами окон в самую душу редкого путника. Потерянно молчат.

И только ветер, так и не поверивший в их усыпление, нет-нет да прибудит на знакомые подворья. Поскрипеть потерявшими зубья калитками, похлопать полусгнившими ставнями, погромоухать пустыми ведёрками, приструнить обжившееся на порушенных крышах вороньё.

Ни дымов над похерившимися печными трубами, ни огоньков в быстро надвигающихся сентябрьских сумерках. Лишь из поросших в человеческий рост собачником да крапивой когда-то богатых «бабушкиной антоновкой» гнездиловских садов горько

потягивает приторной прелью, уксусной оскоминой перезрелой дички, завалившейся в поникшие от нечаянно-раннего заморозка чертополошины.

Из-под проваленных избяных половиц выползает сырой и зябкий дух, обволакивает плесенью уже прозеленившиеся стены, напрочь запамятовавшие запах масленичных блинов, вкус крещенского гусяного холодца, ароматы щей из кислой бочковой капусты или лугового щавеля.

И ветер скулит, скулит... словно гложет голую кость изголодавшаяся псина. Да-а... Как у нас говорят: беда, которую не отшептывать.

А ведь века обживали наши пращурсы эту землю: «гнездились», выкорчевывая

леса под пожни, поближе к воде, да чтоб рядышком, под боком, зверь водился, да чтоб грибы-ягоды родились. Сколько по России zaloжили деды наши деревень, окрестив их просто и понятно – «Гнездилово»? Не счесть.

А сколько осталось? По пальцам перечесть... Сплошной разор... По правде говоря, не весело русским глазам... Вот тот-то и оно!

И чем прогневали Господа? Не докричаться, не достучаться до небес... И ни души на десятки вёрст в округе...

Порушены отчие гнёзда, и что самое страшное – с земли нашей кровной стирается наша родовая память.

Деревушка Гнездилово стоит на двух пригорках, в низине меж которыми, протекая сразу из нескольких родников, скользит безымянный ручей. Бывало, по берегам его ярко-зелёная, будто новёхонький кусок миткалю, ширилась большая поскотина. Нынче же и ручья-то не разглядеть, и луговины не распознать. Лозняк да вербач, каких ещё белый свет не родил, наглухо заполонили подгорье, ни стёжки, ни тропиночки. С одной стороны заброшенной деревушки на другую задумаешь – не пройдёшь, не продерёшься.

И только в палисадах всё ещё не сдаются забвению до самых холодов мальвы-самосевки. Горят, полыхают негасимым ласковым светом, как бывало в добрые времена сияли прикрыльчанные фонари этой большой среднерусской деревни.

Огородов и бахчей теперь уж и вовек не сыскать. На их месте – дикое поле. На нём – лес лесом, как водится на всех пустырях, – осот да полынь, лебеда да татарник.

И что особо ранит человека, выросшего на широкой деревенской воле, что примечательно – ни одного голубя, ни одной ласточки, пройди хоть из конца в конец

обе длиннющие улицы, не обнаружишь. Только кракает, кракает, словно на погосте, перелётывая от усадьбы к усадьбе прожорливое вороньё, то отрясая последние яблоки в задичалых садах, то роняя с рябин у накренившихся ворот перезрелые кисти.

А бывало-то!.. Не сыскать и двора в Гнездилово, где бы не держали голубятню. Да каких голубей!..

А ласточки... Что ж ласточки?.. Птички эти испокон веку с человеком в дружбе состояли и жильё своё к людскому жилью прилепливали. Всё, бывало, вьются хлопотуньи, носятся над омулком...

Видать, весело им было слушать, как залихватски колотят бабы пральниками на камушках расшитые васильками да колосьями рушники, как звенят в малинниках разливистыми колокольцами детские голоса, как, торопясь до дождя в лога за поспевшим сеном, тарарайкают по мозолистому просёлку одна за другой мужицкие подводы.

Не натянуты на подворьях верёвки, не полощется на них дышащее свежестью и влагой детское бельишко, обрезаны провода, порушились телеграфные столбы, измельчали малинники, перемололись в труху все стожки и копёшки у хозяйских амбаров.

На западе, за Сырым ложком, меркнут последние, скудные, краски зари. И только на самом краю, на выезде из Гнездилово, мигает, ещё теплится над погасшей Кромой огонёк. Это Митрофаныч хватается за последнюю соломинку с родной крыши. Хоть обнищал, как говорится, ни иголки с ёлки, ни иконы помолиться, ни ножа, чем зарезаться – а поди ж ты! – крутится, крутится всё ещё его подворье, будто какая неподдающаяся никаким напастям волшебная самопрялка. Ну, так безрогая корова и шишкой бодается.

«Уздул» вот свою керосинку, сумерничает... Для себя-то он давно всё обрешил, да хоть своими, хоть чужими глазами погляди и обдумывать-то особо нечего... гикни, птицей обернуться сноровись, и то отсюда не улетишь.

Вот и сейчас забрался старый на полати, клюёт носом, а всё балакает, балакает по сотовому с родной душой, с осевшим в Питере сыном.

– Зазря не переживай по мне, – перекачивает желваки старик, – не слухай, об чём я тут раскудахтался... картохи приборал... свеклы цельный подпол. Опять же груздочков промыслил, трёхведерный бочонок в погреб закатил. Ай, не еда?.. Ты к Пасхе-то на гнездо родимое прибудешь... ай нет? Надо бы оградку на мамкиной могилке подсправить...

Храни тебя Господь, старик!



## ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА!

**Татьяна Грибанова. Колыбель моя посреди земли (Песнь роду-племени моему).** Издание второе, исправленное. - Орёл: ПФ «Картуш», 2017. - 404 с.



Продолжая повествование об Орловской деревне, в новую книгу «Колыбель моя посреди земли» Татьяна Грибанова поместила лирические очерки и эссе о своей малой родине. С пристальным вниманием, не скрывая сердечной привязанности к земле, писатель вглядывается в судьбы сельских жителей, своих земляков с времён древних вятичей и до наших дней, прослеживает историю русского крестьянства на примере своих родичей.

Татьяна Ивановна, оставаясь и в прозе поэтом, тепло и лирично ведёт повествование ярким, самобытным и сочным языком.

Главы этой книги публиковались во многих литературных журналах России. Книга «Колыбель моя посреди земли» получила первую премию Орловского областного Совета народных депутатов на областном конкурсе «Книга Года литературы» (2015), отмечена дипломом Всероссийской литературной премии «Щит и меч Отечества» (2016).